

Проза

Еврейское счастье

Моему отцу, י"ל.

В микву он ходил с большим удовольствием. В дождь и зной, в будни и праздники. Эта была неотъемлемая часть его жизни, он смывал с себя тяжкую усталость и тяжкие мысли. Она спасала. Так и в этот раз. Он расслабленно шёл переулком, когда к нему подскочили двое. Он даже испугаться не успел. Лиц их он не видел, голосов не знал.

«Давай кошелёк!» Длинный холодный нож ожёг разгорячённую шею. Владыка Вселенной! Откуда у него кошелёк, он ведь идёт из миквы.

- Давай деньги, - сказал другой, видимо нервный, - или я возьму твою жизнь!
- Приехали, - подумал он, - зачем ему моя жизнь? Он и своей не может распорядиться.
- Нет у меня денег, только полотенце да пара белья. Бери мою жизнь.
- Ладно, - ровным голосом сказал первый и, неспешно ощупав его, убрал нож.
- Иди домой. Счастье твоё, нож у меня сегодня молочный!
- Вот оно, еврейское счастье, - то ли с радостью, то ли в недоумении думал он.

Настроение было явно не праздничным, хотя в этом году пасхальные торжества совпали с трёхлетьем сына. В семье, где два дедушки – люди верующие, соблюдающие традиции, несмотря на все прелести тридцатилетнего правления гегемона, это особое событие.

Мальчика, не достигшего трёх лет, стараются всеми правдами и неправдами не стричь, чтобы потом, в день рождения торжественно, с участием родни и уважаемых гостей, совершить обряд «пейсы» и хорошо, при этом, погулять. Да и сам он ещё не забыл вкус и аромат капли мёда на первом листе «Брейшис». Он вообще всё хорошо помнил.

Родился он в тринадцатом году, перед войной, в городе, который жил своей особой жизнью, отличной от жизни больших и малых городов империи. Его отец, реб Ицхок, человек богобоязненный и тихий, в картузе, с заложенными за уши еле заметными пейсами, небольшой бородкой клинышком, невысокий, чуть сутулый, был сапожником. Нет, не Ади Даслер, но маленькую квартирку в большом, густонаселённом дворе имел, и в шабес имел на столе румяную, туго сплетённую халу, гифильте фиш и настоящий, из свежей курицы с Привоза, бульон. Одевался в тёмное, хорошие яловые сапоги. Только в субботы и праздники извлекалась из шкафа белая сорочка и

длиннополая капота, свидетели его хупы. Говорил мало, тихо шелестел тонкими губами, глаза неожиданно голубые, несмелые под седыми кустистыми бровями. Его мать, Ида, тоже верующая, всегда в тёмном, маленькая и незаметная, в платочке, с рукавами до запястья, вела дом скромно, но с достоинством. Единственного сына назвали Арончиком - славное, не каждому к лицу его глубокий смысл, еврейское имя. Жизнь не обещала никаких катаклизмов: в три года хейдер, а дальше - Творец вездесущ! Раввинов в роду не было, но если Бог даст... Но так далеко не заглядывали, дух от таких мыслей захватывало. Есть в семье профессия, будет и кусок хлеба.

Но всё повернулось иначе. Пришли новые времена и новые цари, намерения у них были серьёзные, а деяния – тем паче. Среди новых, как всегда, в первых рядах, много евреев, желающих, а как же, быть святее папы Римского. А от своих - не спрячешься. Пришлось, смилив душу, мальчика подстричь, как шейгеца с Дюковского сада, и одним прыжком, едва штаны в мотне не лопнули, из страстного, полного смысла «Шма Исроэль!» - в пустую необъятность ретивых «Взвейтесь кострами...»

Гореть бы Вам синим пламенем!

Школа, пионерия, комсомол – благо происхождение из рабочих – позволяло. Сколько слёз пролила Ида бессонными ночами, как беззвучно стонал реб Ицхок, страдая в глубоком непонимании и молитвенном отчаянии, только Богу известно.

Потом рабфак, и Арончик, молодой и красивый, уже студент геологического (!), спроси у меня, что это за факультета, и в другом городе. Партии нужны геологи! Безутешная Ида, не сумев самостоятельно решить (реб Ицхок задушено, хмуро молчал), хорошо это или как, в моцей шабес бросилась к ребецене Фейге Двойре за разъяснением. Та, видимо, тоже не уделявшая в «Бейс Ривке» должного внимания естественным наукам, сделала постные глаза и сунулась за помощью к мужу, раву Шнеер Залмену из Любавичских хасидов, сидевшему за книгами. Тот, человек учёный и многое знающий, предположил в двух словах, что это связано с керосином, и отвернулся к книгам. Третируют, мол, попусту!

Ребецене, свежо сияя лицом, всего за каких-то пятнадцать минут передала Иде смысл сказанного равом Шнеер Залменом, Любавичером, чем ещё больше озадачила несчастную мать.

Лишь одно слово «Керосин», произнесённое ребецене с большой буквы и значением, было ей знакомо. Придя домой, она объяснила мужу, которому и так всё было понятно, что Арончик, даст Бог, видимо, станет

ремонтировать примусы и попутно продавать керосин в лавке, что совсем неплохой гешефт, только пахнет – она сморщила нос. Реб Ицхок промолчал, с ожесточением пнул подвернувшегося некстати кота. Потом, остыв, безразлично заметил, что зато, мол, клопов не будет. Тем и закончилось.

Арончик, к тому времени называвшийся для благозвучия Аркадием, (хотя в паспорте до конца дней издевательское Арон – с Советами не забалуешь!), выучившись на геолога, стал, как у нас, извините, говорили с разными оттенками, от неприязни до восхищения, - партийным. Он не стал, как предполагали Любавичские хасиды, и к полному недоумению матери, прилично торговать керосином, попутно чиня примусы, что давало бы хорошие перспективы. Но зато принялся что-то искать, причём там, где, по мнению большинства соседей, ничего не терял. Но кто их поймёт, этих партийных! Реб Ицхок угрюмо молчал, склонившись над очередным драным ботинком, мать на людях делала независимое лицо, а что дома – этого никто не видел, только Богу она могла поведать свою печаль.

Наконец, впереди чуть посветлело – Арончику, слава Богу, нашли невесту. Конечно, не такую, как хотела мама, но так никогда не бывает. Но Ида смирилась. Не подозревая о существовании астрономии, она инстинктивно понимала, что если уж Всевышний допустил пятна на солнце, то ей не к лицу кочевряжиться по поводу невесты. Ну, стриженная, так сегодня многие не плетут кос, да и гигиеничней это по нынешней жизни, не про нас будь сказано. Учится на врача – так сегодня не напасёшься на всех молодых раввинов с горящими глазами.

Вот и кинулись девушки учиться. Правда, не женская это профессия, лучше бы на модистку или, там, на библиотекаря, но... Арончику нравится.

Семья невесты тоже не была понятна Иде. Мама, одна из одиннадцати дочерей известного праведника раввина Гольдштейна, вечная ему память, в своё время окончила еврейскую гимназию и пединститут. Слыла женщиной грамотной, но надменной, вежливой, но властной. На русском говорила так же легко и свободно, как на идиш и, по слухам, знала чуть ли ни немецкий. Регулярно посещая синагогу, остальное время ходила с непокрытой головой и даже бывала в театрах и филармонии... Танцевала, что тоже не выглядело достойным в Идиных глазах. Но Арончик...

Папа невесты тоже был полной противоположностью реб Ицхоку. Высокий, с чёрными вьющимися волосами, быстрый и ловкий, он разбогател во времена НЭПа. Не очень складно говорил на русском, зато на идиш – не хуже, чем Шнеур Залмен, Любавичер. Имеет место в синагоге, дочь, сына и многочисленных, дай им Бог здоровья, братьев, каждый при своём гешефте.

Про него говорили, как про человека азартного, любителя жизни, умеющего хорошо, иногда с перебором, погулять, выпить и закусить. Но, красавец! Но, искренне, с душой молится в синагоге в субботу и праздники, а в Судный день – рыдая, просит у Бога прощения. Впрочем, не он один.

Имел дома рояль. Дочь, видимо, не утруждая себя изучением медицины, играла на нём и во весь голос пела, что тоже, знаете ли, не очень... Что соседи скажут! Но Арончику нравится.

Невеста, Хана, по-новому Анна, - правда, миловидная, светлая шатенка с открытым, добрым лицом, улыбается приветливо. Но бледная какая-то. Может, плохо кушает! Но, Арончик...

Познакомились, сговорились. Перед самой войной сыграли свадьбу. Хупу делали за день до этого, без лишнего шума, в доме дяди невесты, без гостей, только миньян. Арончик не хотел, ведь он партийный, боялся огласки. Но будущий швер, человек крепкого телосложения и решительный характером, с прямотой биндюжника (был в его жизни такой достойный период) скрутил жениху кукиш размером с небольшой степной арбуз. Да и братья его были рядом, тоже, как один, не промах. Да и швигер будущая смотрела с недоумением – что, мол, он здесь делает!

Арончику, ради Ханы, пришлось согласиться.

Не успели стихнуть семь благословений и стук ложек, загрохотали пушки. Молодую жену, военврача третьего ранга – на фронт, хирургом в полевой госпиталь. Арончика, то бишь Аркадия Исааковича – в Башкирию, искать в заволжских степях керосин для танков. Сваты – в эвакуацию в солнечную Татарию, загорать до полной победы. В сорок четвёртом город освободили, старики вернулись. Неожиданно демобилизовали молодую жену Арончика, у которой обнаружили, компенсированный пока, порок сердца. Тогда этот порок, устранимый сегодня получасовой операцией, при развитии считался приговором. Приехал и Арончик, получивший, несмотря на удручающие анкетные данные, медаль от партии за обнаруженный в Башкирии керосин для танков.

Жили они душа в душу. Его родители скромно держались в стороне, не докучая просьбами и излишним вниманием. С её родителями было немного сложнее, учитывая разницу характеров, но и с этим всё, так или иначе, улаживалось. И жизнь продолжалась. Она работала хирургом в больнице, он опять что-то искал, теперь недалеко от дома, уезжая на три - четыре дня.

Мальчик родился за две недели до Победы. Мать, плохо переносившая беременность, рожала тяжело, сказывался порок. Но, Бог милостив, всё обошлось.

Два дедушки: один, ошалевший от счастья, другой, закрепив радость лёгким наркозом, - говорили о брите. Времена были непростые, и молодой отец снова боялся огласки. Его папа, человек тихий и богобоязненный, понимал, тем не менее, что обязательно делать надо, но как быть с Арончиком и его партбилетом. Выход нашёл здравый смысл, помноженный на градусы. Продемонстрировав зятю заветный кукиш (помните хупу?), швер предложил ему ехать в командировку и пусть ему не болит голова, всё будет хорошо. Сложности были лишь с именем, так как мнения разошлись, и пришлось искать компромисс с помощью похожих букв и слогов. Но и это, с Божьей помощью, решили.

Никто из чужих не видел, как привезённый отцом роженицы из другого города моэль взмахнул ритуальным ножом, как тоненько вскрикнул и сразу успокоился мальчик, лизнувший с мизинца моэля несколько капель сладкого пасхального вина, как побледнела мать, прижимая к груди свою кровинку, как радовались сваты, как два деда, расстегнув капоты и сдвинув картузы на затылок, чайничком танцевали маюфес. Только Арончика, счастливого отца, не было на этом празднике. Таковы были условия игры, которые им диктовали обстоятельства.

Мальчик рос на радость родителям здоровым и задорным. Его не стригли, и белокурые вьющиеся волосы делали его похожим на девочку. Фотография этого мальчика с золотистыми кудрями, в матроске, ещё много лет висела в витрине фотоателье на Тираспольской площади.

Ничего не предвещало беды. Даже мамин порок сердца стал как-то привычен, и её недомогания уже не воспринимались так трагически. Её берегли от потрясений и нагрузок, она продолжала работать, только меньше оперировала. Лишь бы хуже не было. А там, даст Бог, обойдётся!

Гром грянул, как всегда, неожиданно. Министерство геологии, в котором служил Арончик, было в те времена ведомством стратегическим и военизированным, работники носили форму, дисциплина была суровой

Арончика вызвали в Москву в середине апреля. Никто с ним особенно не церемонился, сказали – есть задание партии, нужно ехать. Где-то там, на крайнем Севере, в районе вечной мерзлоты, нужно искать стратегическое сырьё. Арончика назначали начальником экспедиции с особыми полномочиями. Но и условия были особыми. Глухая тайга, ближайшее жильё за сотни километров. Вагончики для вольных и лагерные бараки для дармовой рабочей силы. Всё. Работайте! Отъезд через месяц. Он заикнулся что-то о старых родителях, маленьком сыне, не очень здоровой жене. В ответ

– недоумение и неприкрытая агрессия. Не можете – кладите партбилет, Вы свободны! Он знал, что это означает в 1948 году. Даже для не еврея.

Жене, вернувшись, он не сказал ничего. Не мог, не знал, с чего начать. Всё рушилось. Он не мог ехать и не мог не ехать! Рассказал отцу. Тот, тяжело вздохнув, начал собирать вещи. Ида, безмолвно плача, помогала ему. Если ехать, то вместе. Старик последнее время работал мало, начал слепнуть, руки плохо слушались. Но сготовил сюрприз – ботинки внуку к третьему дню рождения, любовно сшитые им из мягкой и тонкой козловой кожи. Рантовые, на берёзовых гвоздиках, с медными пистонами и настоящими шёлковыми шнурками, купленными па толчке. Ботинки, остро благоухая кожей и варом, дожидались своего часа, завёрнутые в холстинку.

В доме тестя всё было готово к торжеству. Он работал тогда начальником снабжения на молокозаводе, мог достать продукты. Принесли украдкой в мешке из-под картошки свиток Торы из синагоги и баночку мёда с Привоза. Виновник торжества, важно заложив руки за спину, расхаживал по комнате, повторяя выученный наизусть стишок. Были подготовлены ножницы, которыми гости будут по очереди отстригать золотистые, до плеч, кудри. Шкатулка, куда бледная от волнения и слабости, но счастливая мать, будет складывать остриженные локоны на память. Были многочисленные родственники, мужчины в картузах, женщины в косынках.

Арончик не мог видеть всех этих приготовлений, душа его плакала. В голове не укладывалось, что через две недели он должен уехать. Как сказать, чем объяснить! Пришли реб Ицхок с Идой. Молчаливые и напряжённые, с непроницаемыми лицами, они несли в душе тяжкий груз знания, ненужного, неумолимо жестокого и смертельно опасного.

Мальчик бросился к деду. Тот, посадив его на колени, стянул с ножек ребёнка домашние войлочные тапочки, подтянул сползшие чулочки и, развернув холстинку, надел внуку и зашнуровал новые, его реб Ицхока последней работы, ботинки. Слёзы стояли в его глазах, он не мог поднять головы. Мальчик, прыгнув с колен реб Ицхока, бросился ко второму дедушке, гордясь обновкой. Тот, стоя у дальнего конца длинного пасхального стола, уже чуть хмельной, поднял ребёнка, поцеловал и, поставив на накрытый стол, легонько подтолкнул в спину. Иди! Мазл тов! Мальчик пошёл меж весёлых, ничего ещё не знающих гостей, к другому концу стола, к маме, кутавшейся в платок. Её знобило, лицо горело радостным возбуждением, глаза светились счастьем. Рядом - застывший в немом ужасе Арончик, отец, муж, сын. Он смотрел на своего сына, смело шагающего меж тарелок и блюд, опрокидывая рюмки, и не замечал этого. Ребёнок шёл к нему и смотрел ему в

душу. Он шёл по его сердцу, и каждый шаг оставлял на нём шрам навсегда. Он видел протянутые к нему маленькие руки, руки его сына, который ещё ничего не знал, и сердце его холодело. Плечом он чувствовал тепло прижавшейся к нему жены, ещё ничего не знающей, и разум его мутился. Его била дрожь.

Арончик ещё не знал, что видит её в последний раз. Что компенсированный, до поры, порок, очень скоро превратится в декомпенсированный, и осиротевшее, разбитое сердце откажется жить. Что она никогда не приедет к нему с сыном в далёкий таёжный вагончик, с которого начнётся город, ставший символом его потерь и триумфом партии. Не знал, что никогда не вернётся в этот город, город его короткого счастья, никогда! Он ещё не знал, что, увезя с собой родителей, он схоронит их в вечной мерзлоте, и не будет десяти евреев, чтобы прочитать «Кадиш» над их могилой. Не знал, что, похоронив мужа и дочь, теща его, оставшись с его десятилетним сыном, почти без средств к существованию, из гордости, не простив его, откажется от помощи. Но никогда, ни одним словом, не обвинит его, не даст внуку понять всю боль её сердца. Он также не знал, что, открыв на крайнем Севере месторождение урановой руды а, попутно, нефти, газа и алмазов, нахватает неведомой и нестрашной только для партии большевиков радиации, и уйдёт в пятьдесят пять.

И, вообще, никто тогда ещё не знал, что нож на этот раз оказался мясным...

